

ФРАНСУА МОРИАК

КЛУБОК ЗМЕЙ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
М79

Серия «Эксклюзивная классика»

François Mauriac
LE NOEUD DE VIPERES

Перевод с французского *Н. Немчиновой*

Серийное оформление и компьютерный дизайн *Е. Фerez*

Мориак, Франсуа.

М79 Клубок змей / Франсуа Мориак ; [пер. с фр. Н. Немчиновой]. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 256 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-115570-4

Ложь, обман, равнодушие, вежливые недомолвки — такова повседневная жизнь большой и на первый взгляд совершенно счастливой семьи удачливого провинциального адвоката Луи Калеза, почтенным старцем умирающего на руках у многочисленных отпрысков.

Нет. Там не было ни открытых скандалов, ни скандалов тайных. Было идеально, в общем, все, кроме одного: в доме Калезов медленно умирала любовь. Любовь мужа и жены, вступивших в брак отнюдь не по расчету. Любовь родителей к желанным, обожаемым детям, и детей, рожденных и растившихся в нежности и заботе.

Как же и почему превратилась счастливая некогда семья в «клубок змей»?..

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-115570-4

© Editions Grasset & Fasquelle, 1932
© Перевод. Н. Немчинова, 2019
© Издание на русском языке AST Publisgers, 2019

Враг своих близких, душа, пожираемая ненавистью и алчностью, — низкое существо! И все же я хотел бы вызвать в вашем сердце жалость и хоть каплю сочувствия к нему. Всю жизнь убогие страсти заслоняли от него свет, сиявший так близко, что порою жаркие лучи касались и обжигали его. Да, страсти... Но прежде всего — люди, не очень-то милосердные христиане. Он оказался их жертвой и мучителем. Ведь сколько среди нас строгих судей презренного грешника, — они-то и отвращают его от истины, ибо ей уж не воссиять сквозь их толпу.

Нет, не деньги были кумиром этого скупца, не мести жаждал этот бесноватый. Что он любил в действительности, вы узнаете, если у вас хватит терпения и мужества выслушать его исповедь, вплоть до последнего признания, прерванного смертью...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Как ты будешь удивлена, найдя это послание у меня в сейфе на пачке ценных бумаг! Быть может, лучше было бы отдать письмо на хранение нотариусу, и он вручил бы его тебе после моей смерти; или положить его в ящик письменного стола — наследники, конечно, поспешат взломать стол еще до того, как остынет мой труп. Но ведь долгие годы я столько думал и передумал об этом письме и в бессонные ночи так ясно представлял себе, как оно будет лежать на полочке сейфа — совершенно пустого сейфа, где не будет ровно ничего, кроме этого акта мести, которую я подготовлял почти полвека. Успокойся (да ты, впрочем, уже успокоилась), — процентные бумаги целы! Я так и слышу этот ликующий возглас. Как только ты вернешься из банка, ты крикнешь детям, еще не откинув с лица траурный креп: «Процентные бумаги целы!»

А ведь они чуть было не исчезли из сейфа: я уже готовился принять для этого меры. Стоило мне захотеть, и я всего бы вас лишил, оставил бы вам только дом и землю. На ваше счастье, ненависть моя умерла. Я долго думал, что у меня ненависть — самое живучее из всех чувств. А вот я ее

не испытываю больше, — по крайней мере сегодня не испытываю.

Я состарился, одряхлел, и мне трудно представить себе — неужели я был когда-то безумцем, больным существом, одержимым ненавистью? Неужели я ночи напролет обдумывал — не средства отмщения (эта бомба замедленного действия была уже изготовлена с величайшей тщательностью, чем я очень гордился) — я размышлял о том, как буду наслаждаться своей мезтью. Как мне хотелось дожить до той минуты, когда ты вернешься из банка, вскрыв пустой сейф. Как бы у вас вытянулись физиономии! Нужно было только постараться все устроить умно, выдать тебе доверенность на вскрытие сейфа не слишком рано и не слишком поздно, чтоб не лишиться себя радости услышать, как все вы с отчаянием в голосе будете вопрошать: «Где ценные бумаги?» Даже самая мучительная агония, пожалуй, не испортила бы мне этого удовольствия. Да, я был способен на такое вероломство. Как меня довели до этого? Ведь я не был извергом.

Уже четыре часа дня, а на столе в моей спальне все еще стоит поднос с остатками завтрака; по грязным тарелкам ползают мухи. Я звоню, — но все без толку. В деревне звонки всегда испорчены. Набравшись терпения, жду, когда кто-нибудь наконец заглянет ко мне. В этой комнате я спал в детстве, и здесь же я, вероятно, умру. А в день моей смерти милая дочь Женевьева первым делом потребует отцовскую спальню для своих детей.

Ведь я занимаю самую большую и самую хорошую комнату в доме. Будьте справедливы и вспомните, пожалуйста, что я предлагал Женевьеве уступить ей место, и, конечно, сделал бы это, если б не вмешался доктор Лаказ, заявивший, что для моих бронхов вредна сырость и мне поэтому не годится жить в нижнем этаже. Я-то, разумеется, переселился бы туда, но с затаенной обидой, и рад, что мне в этом помешали. (Постоянно я приносил своим близким жертвы, отравлявшие мне жизнь, и чувство горькой обиды, которое они оставляли в душе, не только не утихало со временем, но возрастало и крепло от воспоминаний об этих жертвах.)

Злопамятство и гневливость — черты наследственные в нашей семье. Я не раз слышал от матери, что мой отец долгие годы был в ссоре со своими родителями, а они тридцать лет не желали встречаться со своей дочерью, которую выгнали из дому, и до самой своей смерти не помирились с ней (от нее пошла наша марсельская родня, с которой мы не знакомы). Младшее поколение в нашей семье никогда не знало причин этих раздоров, но, доверяя старшим, впитало в себя их ненависть; я и сейчас, пожалуй, отвернулся бы от своих марсельских кузенов, если б встретился с ними на улице. Можно не видеться с дальними родственниками, а куда денешься от своей законной жены и от своих собственных детей? Бывают, конечно, хорошие, дружные семьи, но как подумаешь, сколько у нас супружеских союзов, в которых муж и жена раздражают друг друга до последней степени, терпеть друг друга не могут, а между тем едят

за одним столом, умываются из одного умывальника, спят на одной постели, — то просто диву даешься, что у нас еще мало разводов! Ненавидят друг друга, а спастись бегством не решаются; так и живут под одной кровлей...

Почему это у меня нынче такое лихорадочное желание писать о своей жизни, именно сегодня — в день моего рождения? Мне пошел шестьдесят восьмой год, но только я один об этом знаю. День рождения Женевьевы, Гюбера и их деток у нас всегда отмечается: пекут сладкий пирог, втыкают в него свечечки, дарят виновникам торжества цветы... Я уже много лет ничего не дарил тебе на день рождения, — и не потому, что забываю, а из мести... Довольно!.. Последний букет, полученный мною на день рождения, был подарком моей бедной мамы, — она нарвала для меня эти цветы своими старческими руками, обезображенными подагрой; не думая о своей грудной жабе, о всех своих недугах, она с трудом добрела до розария.

Так о чем это я говорил? Ах да, — ты, конечно, удивляешься, почему вдруг на меня напало неистовое желание писать, — именно неистовое. Можешь судить об этом хотя бы по моему почерку: все буквы скривились в одну сторону, как сосны под западным ветром. Послушай, в начале письма я говорил, что долго обдумывал свою месть, — и вот отказываюсь от нее. Но есть кое-что в тебе, кое-что, исходящее от тебя, над чем мне хочется восторжествовать, — я имею в виду твое молчание. Не пойми меня превратно. Я очень хорошо

знаю, какая ты тараторка — ты можешь часами беседовать с Казо по поводу домашней птицы или огорода. С детишками, даже самыми маленькими, ты весело болтаешь и сюсюкаешь целые дни. Зато со мной!.. Ах, это мрачное молчание за семейными трапезами! Я вставал из-за стола, нисколько не отдохнув, — голова пустая, сердце гложут заботы, а поговорить о них не с кем... И особенно тяжело мне стало дома после дела Вильнава, когда я сразу прославился в качестве крупнейшего адвоката-криминалиста, как называют меня в газетах. Чем больше я склонен был возомнить о себе, тем больше ты старалась показать мне, что я ничтожество... Впрочем, не в том дело, — мне хочется отомстить тебе за другое, за твое упорное молчание, когда дело касалось нашей семейной жизни, глубочайшего нашего разлада. Сколько раз, слушая пьесу в театре или читая книгу, я задавался вопросом: а бывают ли в жизни любовники или супруги, которые делают друг другу «сцены», объясняются начистоту, и у них становится легче на душе после таких объяснений.

Сорок с лишним лет мы оба страдали, живя бок о бок, и все эти сорок с лишним лет ты как-то ухитрялась не произнести ни единого слова, затрагивающего что-нибудь глубокое; ты всегда ускользала.

Я долго думал, что это сознательно выработанная тобою система, и все хотел понять, зачем и почему ты к ней прибегаешь. Но в один прекрасный день меня осенила догадка: моя жизнь просто-напросто не интересовала тебя. Я оказался вне круга

твоих забот, занятий, развлечений и стал настолько чужд тебе, что ты всегда избегала меня, и не из страха, а потому, что тебе было скучно со мной. У тебя тонкое чутье, ты сразу угадывала малейшую мою попытку к сближению, и если я заставлял тебя врасплох, находила какие-нибудь пустячные отговорки или же, похлопав меня по щеке и наскоро поцеловав, убегала по своим делам.

Конечно, можно опасаться, что ты разорвешь мое письмо, как только прочтешь первые строки. Но нет, ты этого не сделаешь, — уже несколько месяцев, как в тебе затронуто любопытство: ты удивлена, заинтригована.

Хоть ты и мало ко мне присматриваешься, но как же тебе было не заметить разительную перемену в моем настроении? Да, да, я уверен, что на этот раз ты не ускользнешь от объяснения. А я хочу, чтобы и ты, и твой сын, и твоя дочь, и зять, и внуки узнали наконец, что за человек жил одиноко в стороне от вашего тесного кружка, что представлял собою тот измученный, усталый адвокат, за которым им приходилось ухаживать, потому что кошелек был у него в руках. Человек, который томился и страдал где-то на другой планете. На какой планете? Тебе и в голову не приходило любопытствовать, посмотреть на нее. Успокойся, я не собираюсь угостить тебя надгробным словом во славу моей особы, заранее сочиненным мною самим, или же обвинительной речью против вас. В моей натуре преобладает свойство, поражающее всякую женщину (за исключением тебя, разумеется), а именно беспощадная ясность мысли.

Никогда у меня не было той утешительной способности к изворотливому самообольщению, которая облегчает жизнь большинству людей. Если мне случалось совершить что-либо гадкое, низкое, то я первый отдавал себе в этом отчет...

Пришлось отложить перо — дожждаться, когда принесут лампу. Пока ее не зажгли и не заперли ставни, я смотрел в окно, любовался красивыми тонами черепиц на крышах сараев и винного подвала, — одни яркие, как цветы, а другие переливчатые, словно грудка у голубя. Слушал, как дрозды поют в густой листве плюща, обвившего и ствол, и ветви пирамидального тополя, как стучит бочка, которую катят по двору. Мне все-таки повезло: я дожидаюсь смерти в милом сердцу уголке, где все осталось таким же, каким было в моем детстве. Только вот гудит и стучит движок, поднимая воду из реки, а прежде скрипело колесо водочерпалки, которое вертела старая ослица... (Да еще рокочет этот противный почтовый самолет, который ежедневно в час вечернего чая уродует небесную лазурь.) А ведь немногим удастся видеть в живой действительности, совсем близко, рядом с собою, мир своего прошлого, который большинство людей воскрешает лишь перед своим мысленным взором, когда у них хватает мужества и терпения погрузиться в воспоминания. Прикладываю руку к груди, прислушиваюсь к частому и слабому биению сердца, смотрюсь в зеркало, вделанное в дверцу шкафа, в котором хранятся шприц, ампулы с атропином, камфорой и вообще все, что

необходимо в случае приступа удушья. А услышат меня, когда я позову на помощь? Они уверяют, что у меня «ложная грудная жаба», но говорят так не столько для моего, сколько для собственного утешения, чтобы им спокойнее спалось. Осторожно делаю вдох. Ощущение неприятное — как будто кто-то положил мне руку на левое плечо и нажимает на него, не дает ему свободно подняться, словно хочет напомнить: «Я тут, не забывай». Да, надо отдать справедливость смерти, — ко мне она не подкрадывается по-воровски. Она уже несколько лет открыто бродит вокруг меня, я слышу ее шаги, чувствую ее дыхание; она со мной терпелива, не зря же я подчиняюсь строгой дисциплине, к которой обязывает ее приближение. Вот и доживаю свой век в халате, создав вокруг обстановку, приличествующую больному старику; сижу в том самом глубоком кресле с подушечками, в котором и моя мать ждала смертного часа; и так же, как у нее, возле меня стоят на тумбочке всякие пузырьки и коробки с лекарствами; я плохо выбрит, от меня плохо пахнет, я стал рабом отвратительных мелочных причуд. Но не доверяйте этому: когда приступов нет, я оживаю и еще могу постоять за себя. Я вновь появляюсь в конторе моего поверенного Буррю, который уже считал, что я отправился на тот свет; у меня хватает сил целыми часами просиживать в подвалах банка и стричь купоны.

Надо мне еще пожить немножко, чтоб дописать свою исповедь. Должна же ты выслушать меня наконец, а то ведь в те долгие годы, когда я разделял с тобой ложе, ты всегда твердила вечером, стоило

мне приблизиться к тебе: «Ах, я падаю от усталости, смертельно хочу спать, я уже сплю, сплю!..»

Ты старалась избежать не столько моих ласк, сколько моих слов.

И правда, ведь наше несчастье и породили разговоры — те бесконечные беседы, которые мы так любили, когда только что поженились. Мы были очень молоды: мне исполнилось двадцать три года, а тебе — восемнадцать, и, пожалуй, любовные утехи доставляли нам меньше радости, чем откровенные, доверчивые излияния. Как в детской дружбе, мы поклялись ничего не таить друг от друга. Мне, в сущности, не в чем было исповедоваться, даже приходилось приукрашать свои жалкие похождения, и я не сомневался, что и у тебя такое же скудное прошлое: я просто не мог себе представить, чтобы ты до встречи со мною произносила имя какого-нибудь другого юноши; я был уверен в этом до того вечера, когда...

Было это в той самой спальне, где я сейчас пишу. Обои на стенах с тех пор переменили, но мебель красного дерева все та же и так же расставлена, и по-прежнему стоит на столике кувшин из переливчатого опалового стекла и чайный сервиз, выигранный в лотерею. По ковру тянулась тогда полоса лунного света. Теплый южный ветер, пролетавший над ландами, доносил до нашей постели запах гари.

Ты не раз говорила мне о каком-то Рудольфе, своем друге, и всегда это бывало ночью, в спальне, — как будто его призраку полагалось появляться меж нами в часы самой глубокой нашей

близости; ты и в тот вечер опять произнесла его имя, — помнишь? Но этого тебе показалось мало. «Мне бы следовало, милый, кое о чем сказать тебе перед нашей помолвкой. Право, меня совесть мучит, что я тебе не призналась... О, ничего особенного, успокойся!»

Я нисколько не встревожился и не намеревался ничего выпытывать. Но ты была так любезна, что сама принялась развлекать меня признаниями и преподносила их с такой готовностью, что я сначала смутился. И пустилась ты в откровенности вовсе не потому, что тебя мучила совесть или заговорило в тебе чувство деликатности, в чем ты меня убеждала, да и сама была убеждена. Нет, ты просто наслаждалась сладостными воспоминаниями, ты больше не могла молчать. Может быть, ты и чувствовала опасность, грозящую гибелью нашему счастью, но, как говорится, это было сильнее тебя. Тень Рудольфа против твоей воли витала вокруг нашей постели.

Не думай, пожалуйста, что источником нашего несчастья была ревность. Позднее я действительно бешено ревновал тебя, но в ту летнюю ночь 1885 года, о которой идет речь, я не испытывал ничего похожего на это жестокое чувство, когда ты призналась мне, что прошлым летом в Эксе, куда вы ездили всем семейством, этот незнакомый мне юноша был твоим женихом.

Подумать только! Лишь через сорок лет я получил возможность объясниться по этому поводу. Но прочтешь ли ты мое письмо? Ведь все это тебя совсем не занимает.

Все, что меня касается, для тебя скучно. Когда-то тебя поглощали дети — дети мешали тебе видеть и слышать меня, а теперь у тебя растут внуки... Что ж, тем хуже. Надо все-таки попробовать в последний раз попытаться счастья. Быть может, мертвый я буду для тебя интереснее, чем живой, — хотя бы в первые дни, и ты из чувства долга прочтешь эти страницы до конца. Мне так хочется верить в это. И я верю.

Глава вторая

Нет, я не испытывал ревности во время твоей исповеди. Но поймешь ли ты, что она разрушила во мне? Как тебе это объяснить? Я был у матери единственным ребенком. Она рано овдовела и одна растила меня. Ты знала ее, вернее сказать, — долгие годы жила рядом с ней, не зная ее. Даже если б тебя это интересовало, тебе было бы трудно понять душевную близость, соединявшую два одиноких существа — мать и сына; ведь у вас была совсем другая семья — богатая и влиятельная, многочисленная буржуазная семья, с твердо установленной домашней иерархией, со сложными правилами и распорядком. Нет, тебе не понять, какими страстными, нежными заботами может окружить сына, единственное свое сокровище на земле, вдова мелкого чиновника, начальника одного из отделов префектуры. Мои школьные успехи переполняли ее гордостью. У меня же, кроме них, и не было других радостей. В те вре-

мена я был твердо уверен, что мы очень бедны. На мой взгляд, об этом свидетельствовала наша скромная жизнь и строжайшая экономия, которую мама сделала для себя законом. Я, конечно, ни в чем не знал недостатка. Теперь-то я вижу, как меня холила и баловала мать. В Остейне у нее была ферма, оттуда нам по дешевой цене доставляли провизию, и в детстве я был бы очень удивлен, если б мне сказали, что в нашем доме изысканный стол: откормленные пулярки, зайцы, паштеты из дичи, — все это нисколько не казалось мне роскошью. Я всегда слышал разговоры о том, что наша ферма ничего не стоит. И правда, когда она досталась матери в наследство, то земля вокруг нее была бесплодной пустошью, — там мой дед в детстве сам пас коров. Но мне было неизвестно, что мои родители прежде всего позаботились о том, чтоб ее распахали, засеяли семенами сосны, и, когда мне исполнился двадцать один год, я оказался владельцем двух тысяч гектаров молодого сосняка, где уже вели вырубку, поставляя крепезный лес в шахты. Мать делала также сбережения из своих скромных доходов. Еще при жизни отца, «вытянув из себя все жилы», купили усадьбу Калез (за сорок тысяч франков, а я теперь эти виноградники и за миллион не отдам). Мы жили на улице Сент-Катрин в собственном доме на четвертом этаже (дом этот и несколько незастроенных участков отец получил от родителей перед женитьбой). Из деревни два раза в неделю присылали корзину с провизией: мама старалась как можно реже «ходить к мяснику». Я был одержим неотвязной мыс-